

шевский заключен в Петропавловскую крепость). Салтыков взял на себя огромную писательскую и редакторскую работу. Но главное внимание уделял ежемесячному обозрению «Наша общественная жизнь», которое стало памятником русской публицистики 1860-х годов.

В 1864 г. М.Е. Салтыков-Щедрин вышел из редакции «Современника». Причиной послужили разногласия по вопросам тактики общественной борьбы в новых условиях. Он возвратился на государственную службу.

В 1865—1868 гг. возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле, Рязани. В 1868 г. был отправлен в отставку в чине действительного статского советника. Переехал в Петербург, принял приглашение Н.А. Некрасова стать соредактором журнала «Отечественные записки», где работал в 1868—1884 годах. В 1869 г. пишет «Историю одного города» — вершину своего сатирического искусства.

В 1875—1876 гг. лечился за границей, посещал страны Западной Европы в разные годы жизни. В Париже встречался с И.С. Тургеневым, Г. Флобером, Э. Золя.

В 1880-е гг. сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина достигла кульминации в своем гневе и гротеске: «Современная идиллия» (1877—1883); «Господа Головлевы» (1880); «Пошехонские рассказы» (1883). В 1884 г. журнал «Отечественные записки» был закрыт, после чего М.Е. Салтыков-Щедрин вынужден был печататься в журнале «Вестник Европы».

В последние годы жизни писатель создал свои шедевры: «Сказки» (1882—1886); «Мелочи жизни» (1886—1887); автобиографический роман «Пошехонская старина» (1887—1889).

*По материалам источников:*

<http://www.saltykov.net.ru/>,  
<http://biographer.ru/biographies/107.html>,  
<http://www.bibliotekar.ru/rusSaltykov/>

*Далее публикуется исторический очерк В.Г. Короленко, написанный в 1889 году.*

## О Щедрина\*

### I

Щедрина нет. Толпы народа, некрологи, венки, телеграммы, стихи, речи. Посреди всего этого строгое лицо, которое редко кто даже из петербуржцев видел при его жизни, — мелькнуло на народе, над толпой, среди всеобщего признания и всеобщей скорби; мелькнуло и навеки скрылось в могиле. Нет человека, нет того, кто жил, чувствовал, мыслил, кто скорбел с нами и за нас. И вот мы чувствуем потребность поговорить о покойнике.

\* О Щедрина / В.Г. Короленко // Собр. соч.: в 10 т. — М., 1955. — Т. 8. — С. 284—290.

Был он писатель в большей мере, чем все другие писатели. У всех, кроме писательства, есть еще личная жизнь, и, более или менее, мы о ней знаем. О жизни Щедрина за последние годы мы знаем лишь то, что он писал. Да едва ли и было что узнавать: он жил в «Отечественных записках», и с того дня, как их подружили, при подлых ликованьях толпы Мещерских (повалили-таки! — писали в «Гражданине») — подружена и жизнь Щедрина. Мы слышали с тех пор о медленном умирании человека, у которого перерезали жизненный нерв. Правда, он все писал, и потому мы не верили, что он умирает. Но он все-таки умер — в середине недоконченной работы.

Болеало у него то, что болеало у русской печати и общества. Русская печать до сих пор не исцелилась, когда над ней совершили операцию изъятия «Отечественных записок». До сих пор живое место еще не зажило и зияет своей пустотой. А Щедрина эта операция сократила жизнь, быть может, на много годов.

Любил он — ту же печать, об этом и говорить незачем. Но, кроме того, была у него и еще живая любовь, это любовь к среднему русскому человеку, которого «всё бьют», которому «история не дает утешений», несмотря на то, что «он-то и есть действительный объект истории. Для него пишет история свои сказания о старой неправде, для него происходит процесс нарастания правды новой. Ради него создаются религии, философские системы, утопии. Ради него самоотвергаются те исключительные натуры, которые носят в себе зиждительное начало истории».

...Ежели в глазах человека веры, — писал Щедрин, — безразличны все виды и степени относительной правды, оспаривающие друг у друга верх, то для человека среднего борьба этих правд составляет источник глубоких и мучительных опасений... От настоящего должен он ожидать «охранного листа на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование». А между тем, «в настоящем, процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма».

Вот настоящая живая любовь Щедрина. Вот от чьего лица он всегда говорил, вот чьи интересы отстаивал, кого защищал до конца своей жизни, за кого негодовал и для кого смеялся.

По большей части он отстаивает и защищает среднего человека даже тогда, когда, угнетаемый страхом, средний человек усердно перебегаем с одной стороны улицы на другую, рискуя попасть под колеса вагонов, лишь бы избежать опасной, компрометирующей встречи:

«Это очень печально и, может быть, даже безнравственно, — пишет он, — но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот

воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно: не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда». «Наше общество не многозначительно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже загорелись в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь и уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.

Но ведь должна же когда-нибудь настоящая правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы\*, так усердно под гнетом паники перебегающие через дорогу, дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые, в минуты уныния, поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.

Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые «бредни», ежели и не восторжествуют вполне, то во всяком случае будут иметь свое значение на весах будущего».

— Щедрин, он все смеется, — приходилось иногда слышать в виде упрёка.

Да, «почти» все смеялся; под конец жизни ему было слишком тяжело смеяться, и у него прорывались крики глубокой тоски. Но, к счастью для среднего русского человека, в самые мрачные минуты нашей недавней истории мы слышали этот смех. Я говорю — к счастью. Представьте только в самом деле, что в то время, когда и без того было так жутко, еще Щедрин затынул бы унылую, заунывную песню. Но именно в то время мы слышали голос, полный страстного негодования и гнева, а порой добродушного смеха. Гнев и негодование направлялись куда следует, а добродушный смех назначался опять для несчастного и забитого настоящей историей среднего человека. Он брал испуганного среднего человека за руку, гладил его по головке, обещал, что никогда генералу Отчаянному не удастся пожарной кишкой залить солнце, и хотя на сердце у него тоже кошки скребли, хотя он сам прислушивался с болью, как свинья гложет правду в темном хлеву, хотя самого его свинья уже хватала за ляжки, — он все-таки ободрял и утешал. Он уводил среднего человека от ужасного зрелища генерала Отчаянного, сверкавшего в темноте кровожадными глазами, и указывал ему на другого генерала: знаешь, кто это в балете сейчас такое удивительное коленце выкинул? Тоже генерал. Действительный статский советник Мариюс Петипа. Вот видишь, дескать, не все же одни Отчаянные.

И средний человек смеялся. Да, нужно было великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки.

Откуда же у Щедрина была эта великая сила и какая была основная нота его смеха?

И то и другое, по моему глубокому убеждению, определяется одним словом: у Щедрина была глубокая, неистощимая вера — в те великие забытые слова, о которых он собирался напомнить перед смертью.

## II

Всякий раз, когда я думаю о том, какая основная черта литературной физиономии Щедрина, — мне невольно вспоминаются два отзыва. Один относился не прямо к Щедрину, и мне пришлось его слышать в одном из умственных центров, на обеде, который интеллигентный кружок давал датскому критику Брандесу. Последний, резюмируя свои впечатления о России, сказал, между прочим, что Россия представляется ему о двух

\* Безличное большинство.

головах. Одна — это чрезвычайно развитая, свободлюбивая интеллигенция, стоящая на крайних высотах человеческой мысли. Другая — производ и устаревшие, чисто азиатские формы жизни. Эти две головы — живут рядом и зрелище, конечно, являют далеко не эстетическое.

Другой отзыв, уже о Щедрина лично, я слышал в одном из медвежьих углов, в уездном городе Вятской губернии, от старого и озлобленного неудачами подъячего.

— Щедрин, Щедрин. А что такое Щедрин! Никто иной, как бывший советник вятского губернского правления.

Он знал его и встречался с ним, но на мои расспросы не желал отвечать и только пренебрежительно махнул рукою.

Эти два отзыва, — с разных, так сказать, полюсов, — теперь невольно встают в моей памяти. Да, из всей «развитой» интеллигенции Щедрин был едва ли не самым развитым человеком, едва ли не тоньше всех умел и различать и ценить все блага культуры. И, вместе с тем, он был чиновник губернского правления гор. Крутогорска, он жил в глубине нашего любезного отечества, он не только все видел, высмотрел, но и перечувствовал и выносил. Вот откуда у него такое познание не только всяческих свобод, но и того, какой они дают фрукт на нашей почве; вот откуда познание не только помпадура, но и среднего человека, и вот откуда эта сильная юмористическая складка. Это складка развитого из развитых европейцев, идеалиста и мечтателя, поселенного в Крутогорске и чувствующего, что здесь идеалы не ко двору, но что это все-таки его родина, которую он все-таки любит, не может не любить и не желает, и что всю жизнь он проведет именно здесь, а не в свободной Европе.

Мы так привыкли к Щедринскому смеху, что нам трудно перенестись к тем годам, когда он тоже мечтал, наивно и восторженно, как верят все другие, менее насмешливые люди. А, между тем, это было, и далеко не иронией звучат следующие автобиографические признания:

«Кто, не всуе носящий имя человека, не испытал священных экзальтаций мысли? Кто мысленно не обнимал человечество, не жил одной с ним жизнью? Кто не метался, не изнемогал, чувствуя, как существо его загорается под наплывом сладчайших душевных упоений? Кто хоть раз, в долгий или короткий период своего существования, не обрекал себя на служение добру и истине? И кто не пробуждался, среди этих упоений, под крик: цыц... вредный мечтатель!»

«В 40-х годах русская литература поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, — естественно примкнул к западникам. Но не к большинству, которое занималось популяризацией немец-

кой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди» («За рубежом», IV).

«Но в особенности эти симпатии обострились около 48 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана. Теперь, когда уровень требований значительно понизился, мы говорим: «Нам бы хоть Гизо, и то слава богу», но тогда и Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л.В. Дубельт)».

«Я помню, — говорит он далее, — это случилось на масляной 48 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство овладело всеми. Именно всеми... не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии сделалось как бы нормальной окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги. Помнится, к концу спектакля пало уже министерство Тьера... В 2—3 дня пало регентство, пало министерство Одилона Барро, Луи-Филипп бежал. Франция казалась страной чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этой неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок... рвалось захватить все дальше и дальше. И точно: мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства».

Не знаю, как кто, а я с глубоким волнением перечитал вчера эти строки. Из них так ясно видно, что человек, который всю жизнь только смеялся, — в свое время верил так же наивно и молодо, как и другие, как и мы верили после него. Только это было в разные времена, и в те годы, когда мы переживали этот период розовой веры, — он уже смеялся над многим и даже своей вере служил иронией и смехом. Вера, сказал кто-то, это есть запас, который путник, отправляясь на заре в дорогу, берет с собою. Дай Бог, чтобы ему хватило ее до вечера.

Щедрин смеялся, но ему все-таки хватило до вечера. Многим ли хватит из нас — посмотрим.

Уже в следующих строках пробивается обычная ирония:

«И вот, вслед за возникновением движения во Франции, возникает соответствующее движе-

ние у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат Вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами...»

Итак — молодой энтузиазм, политические идеалы, великая драма на Западе и... почтовый колокольчик, Вятка, губернское правление и помпадуры... Вот мотивы, сразу, с первых шагов литературной карьеры овладевшие Щедриным, определившие его юмор и его отношение к русской жизни.

## **«М.Е. Салтыков-Щедрин»: электронная выставка Российской государственной библиотеки**

К юбилею великого русского писателя отдел организации выставочной работы Российской государственной библиотеки (ОВР РГБ) подготовил электронную выставку «М.Е. Салтыков-Щедрин. К 185-летию со дня рождения русского писателя-сатирика».

Виртуальные выставки стали одной из новых форм работы с посетителями библиотек. Их цель — систематизированное представление оцифрованных печатных и электронных изданий из фондов РГБ для их популяризации и донесения информации по определенной теме до потенциального читателя, выполненное в электронной форме и размещенное на различных носителях информации.

Сотрудники ОВР РГБ подготовили уже не одну выставку в электронной форме. Среди них — «200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя», «А.С. Грибоедов», «Добавь свое — и долг исполнен твой» (К 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского) и др. Сложность подготовки подобных выставок заключается в том, что их электронная форма должна быть насыщена как информативно, так и изобразительно. Многие библиотеки при подготовке электронных выставок уделяют главное внимание демонстрации обложек или титульных листов экспонируемых материалов. В то же время существуют электронные формы выставок-персоналий, в которых ряд фотодокументов доминирует над демонстрацией непосредственно печатных источников. Именно поэтому в электронном варианте выставки «М.Е. Салтыков-Щедрин. К 185-летию со дня рождения русского писателя-сатирика» сделана попытка объединить как фотодокументальные, так и книжные материалы из фондов РГБ. Для систематизации материала был составлен план подготовки к выставке: определены наиболее значимые факты из биографии писателя и их документальное сопровождение, создана послайдовая схема отображения материалов. Основу выставки составила хронологическая канва биографических (в том числе — творческих) материалов, рассказывающих о писателе. Были